

ЖЕНЩИНЫ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА

# Прекрасные незнакомки



Портреты  
на фоне эпохи

Борис Носик

Женщины Серебряного века

Борис Носик

**Прекрасные незнакомки.  
Портреты на фоне эпохи**

«Алисторус»

2015

## **Носик Б. М.**

Прекрасные незнакомки. Портреты на фоне эпохи /  
Б. М. Носик — «Алисторус», 2015 — (Женщины Серебряного  
века)

Серебряный век русской литературы стал глотком свободы накануне удушья. Предлагаемая книга представляет собой женский портрет эпохи. Красота, одаренность, дерзость, непредсказуемость – всеми этими качествами обладали роковые и свободные амазонки начала века. Их вы встретите на страницах этой книги – Людмилу Вилькину и Нину Покровскую, Надежду Львову и Аделину Адалис, Зинаиду Гиппиус и Черубину де Габриак, Марину Цветаеву и Анну Ахматову, Софью Волконскую и Ларису Рейснер, Инессу Арманд и Майю Кудашеву-Роллан, Саломею Андронникову и Марию Андрееву, Лилию Брик, Ариадну Скрябину, Марию Скобцеву... Они создавали великие стихи и вдохновляли гениальных поэтов. Читайте и удивляйтесь!

© Носик Б. М., 2015

© Алисторус, 2015

## Содержание

|   |    |
|---|----|
| Что за век? Откуда он пришел?           | 6  |
| «Ты меня не знал. Да и я себя не знала» | 11 |
| Дочки бедного генерала от артиллерии    | 16 |
| Конец ознакомительного фрагмента.       | 30 |

**Борис Носик**  
**Прекрасные незнакомки.**  
**Портреты на фоне эпохи**

© Носик Б. М... 2015

© ООО «ТД Алгоритм». 2015



## Что за век? Откуда он пришел?

Серебряный век. Сколько о нем уже понаписано, об этом веке! Книг, диссертаций, просто стихов. И каких! Вроде этих вот. Георгия Иванова, которые я впервые услышал от поэта Лени Латынина в молодости, лет сорок тому назад:

Январский день. На берегу Невы  
Несется ветер, разрушеньем вея.  
Где Олечка Судейкина, увы!  
Ахматова, Паллада, Саломея?  
Все, кто блистал в тринадцатом году, —  
Лишь призраки на петербургском льду.

Мы стояли с Леней на набережной над залитым солнцем коктебельским пляжем... Дочитав, Леня замолчал, и мы, как ни странно, испытали ту же ностальгию, что пережил бедный Георгий Иванов на курортном берегу Средиземного моря.

А между тем, близился час обеда, и мне надо было искать моего худенького Антошу, а Лене – его лохматую, рыжеволосую Юлечку. В общем, нам надо было спешить за детьми, но мы с Леней никуда не шли, стояли, читали стихи и рассуждали о загадочных «женщинах Серебряного века», которых мы сроду не видели... А ведь можно было еще тогда навестить старенькую Марью Степановну Волошину, послушать ее невнятное бурчание. Впрочем, она ведь и в молодости не была ни Саломеей, ни Палладой, ни Олечкой Судейкиной...

Леня в том 1973-м еще был здоровенным бугаем в расцвете сил, да я и сам мог сойти за дочерна загорелого восточного красавца... А коктебельский пляж сверкал внизу прелестью женских и детских лиц, жизнь еще не грозила нам «тем ужасом, который был бегом времени когда-то наречен». А вот, поди ж ты, как разволновали нас тогда эти шесть строк эмигранта Георгия Иванова.

... Мы оба взглянули на башню волошинского дома. Там они все бывали – и Аморя, и Майя, и Черубина, и Марина, и Аделаида, а может, и Саломея с ненасытной Палладой бывали тоже... Они уже все вошли в легенду, эти женщины Серебряного века, да и сам этот век вошел в легенду...

Откуда оно, кстати, пришло это не слишком старинное (и, как отметил один знаток, не лишенное жеманства) название «Серебряный век», когда было пущено в обиход любителями искусств и поэзии?



Дом Максимилиана Волошина в Коктебеле.

*Дверь отперта. Переступи порог.  
Мой дом раскрыт навстречу всех дорог.  
В прохладных кельях, беленных известкой,  
Вздыхает ветер, живет глухой раскат  
Волны, взмывающей на берег плоский,  
Польный дух и жесткий треск цикад.*

*(М. Волошин «Дом поэта», 25 декабря 1926 г.)*

Можно догадаться, что «металлическое», скорее даже ювелирно-антикварное это название родилось по аналогии с «золотым», Пушкинским веком, в который на скудную ниву родной нашей словесности впервые пролился столь щедрый и благотворный ливень поэзии. Возшло на поэтическом горизонте солнце Пушкина в окружение других, более скромных светил, вослед ослепительным метеором пронесся чудный Лермонтов, да и вообще, стало о чем говорить грамотному русскому читателю, что читать. В короткий срок рождены были русская поэзия, проза, драматургия, эссеистика. Подобно ее французской, английской и немецкой предшественницам и наставницам, русская поэзия вдохновлялась прежде всего любовью. К Богу, к природе, к земле, к женщине. Женщины, кстати, и потребительницами-читательницами стали едва ли не самыми главными. Понятное дело, читали они не только по-русски (еще долгое время бродили по дорожкам усадебных парков «с французской книжкой в руках»), но позднее уж и по-русски тоже читали, с каждым годом все больше.

Родная литература донесла до нас образы этих читающих девочек и женщин. Скажем, образ пушкинской (она же была и «онегинская») Татьяны, которой «рано нравились» и буквально все на свете заменяли романы. Потом уж и ее собственное чудное имя вошло в культурный наш обиход, а потом и перешагнуло русский рубеж.

Милые русские женщины Золотого века в огромном своем большинстве выдержали испытание на нежность и верность.

Когда их мужья, возжелавшие призрачной европейской свободы или какой ни то конституции, были закованы в кандалы и посланы на каторгу, эти прекрасные утонченные женщины, отрехнувшись от роскоши своих городских и сельских дворцов, добровольно ушли за мужьями в Сибирь. Их подвиг был воспет русской поэзией ... Помню, как историей этого подвига до последних дней жизни бредил мой московский друг режиссер Владимир Мотыль, поставивший о нем фильм. Любимой героиней Мотыля была жена декабриста Анненкова (по крови она была, кстати, чистой француженкой, но кто из приличных людей возьмется сегодня мерить русскость составом нашей крови – крови финской, татарской, английской, украинской, немецкой, калмыкской, французской, еврейской, польской...)

Люди трезвые уточнят, конечно, что не все женщины Золотого века были способны на подвиг столь высокой верности. Соглашусь, что я и сам не очень представляю себе, как ринулась бы легендарная Анна Петровна Керн вослед господину Керну (попади он в такую беду) со всей оравой своих любовников. А ведь и она вошла в пантеон Золотого века с этими «чудным мгновеньем» и «мимолетным виденьем» неукротимого женолюба Пушкина (заметим, впрочем, что «гений чистой красоты» пришлось ему, для вящей выразительности, все же позаимствовать у своего учителя Жуковского, воспевшего в этих словах прусскую принцессу Шарлотту). Так что все же вошла в школьные святцы и эта обольстительная дама, оказавшись в нужный момент в нужном месте и вдохновив раззадоренного поэта на бессмертные строки.

Таковыми же музами-эгериями для целой вереницы блестящих русских поэтов суждено было стать и далеко не безгрешным красавицам Серебряного века, о которых пойдет рассказ в нашей книге. Причем иные из них не только оказались вдохновительницами, но и сами писали... Не забудем, конечно, что между этими новыми, «серебряными» эгериями и женщинами золотого века пролегло добрых полстолетия, отмеченного многими переменами и увидевшего разнообразных героинь – и жертвенных «нигилисток», и отчаянных террористок...

Если о Золотом веке русской поэзии принято было говорить и писать в России уже в середине XIX века, то о некоем Серебряном заговорили лишь с двадцатых годов XX века. Напомню, что тогда о нем написал критик Иванов-Разумник, что и Марина Цветаева упоминала о «детях Серебряного века». Что в парижской эмиграции употребляли этот термин поэт и мэтр Николай Оцуп, критик Владимир Вейдле, что бывший некогда редактором журнала «Аполлон» Сергей Маковский подготовил объемистую книгу мемуарных очерков – «На Парнасе “Серебряного века”».

В распространении этого термина немалую роль сыграла и ахматовская «Поэма без героя», где найдешь такие строки:

...серебряный месяц ярко  
Над серебряным веком стоит.

Мало-помалу выяснилось, что начало XX века отмечено было не только всеобщим и всяческим упадком или декадансом (о чем мы помнили еще со школы), но также и «русским ренессансом, культурным, духовным, мистическим, художественным» (так, во всяком случае, утверждал ставший снова вполне авторитетным Николай Бердяев). Хотя и он не мог не признать попутно, что упомянутый нами выше упадок все же, что ни говори, имел место. Отчетливей этим упадком были даже более отмечены сами жизни наших героинь и героев, чем их творчество.

Прославленный этот век, по мнению большинства исследователей, длился не слишком долго, меньше полстолетия, еще точнее, с 90-х годов XIX века до мрачного 1921-го, когда расстреляли Гумилева и умер Блок, признавший наконец, что дышать в России стало нечем, что самый воздух был выкачан насильем...



Впрочем, иные из творцов и красавиц Серебряного века ухитрились выжить (вовремя уехав в эмиграцию), некоторые продолжали там писать, а иные (скажем, Георгий Иванов) свои лучшие вещи написали именно там, много лет спустя. До самых восьмидесятых годов минувшего века дожили и некоторые из бывших красавиц Серебряного века. Автору этой книги довелось встречаться с ними в Париже, о чем он, конечно, не умолчит.

Что же до вышеупомянутого падения нравов, то оно было неизбежно в приближение конца эпохи, в преддверии краха и перемен: такое уже видели люди наблюдательные, а люди ученые даже описывали – не обязательно чтоб историки или социологи, но и просто люди образованные, в том числе, писатели. Вот как писал, к примеру, любимый писатель моей подруги Наташи Трауберг англичанин Г.К. Честертон:

Античный мир захлебнулся в утонченном разврате, во всех видах порока, возведенных в обычное и ставших повседневностью. Чтобы сохраниться, человечество должно было само на себя наложить епитимью, уйти в пещеры, объявить греховой самую плоть.

Любой школьник догадается здесь, что просто должно было придти Средневековье...

Что же до мировой катастрофы начала XX века, то «утонченный разврат» Серебряного века ей сопутствовал и, увы, никуда не делся ни в пору кровавой борьбы за власть, ни в пору нового, надолго утвердившегося ханжеского насилия. Недаром одна из самых знаменитых женщин Серебряного века, прославившаяся «законодательницей новой морали» и преуспевшая в реализации «великого эксперимента» насильников, так подытоживала опыты большевистской «сексуальной революции» в убогом быту тогдашней России, что была дотла разорена соратниками (и любовниками) упомянутой нами законодательницы нравов и мод:

В самом деле, какие только формы брачного и любовного общения не примеряет к себе современное человечество, а однако сексуальный кризис от этого ни на йоту не смягчается. Такой пестроты брачных отношений еще не знавала история: неразрывный брак с устойчивой семьей и рядом преходящая свободная связь, тайный адюльтер в браке и откровенное сожительство девушки с ее возлюбленным – «дикий брак», брак парный и брак втроем и даже сложная форма брака вчетвером. Можно лишь удивляться, как удается человеку, сохранившему в душе веру в незыблемость моральных авторитетов, разобраться в этих противоречиях и лавировать среди всех этих взаимно исключających друг друга несовместимых моральных предписаний.

После воспроизведения этой незамысловатой констатации предреволюционной и пореволюционной моральной разрухи могу удивить вас, назвав имя законодательницы. Лихая комиссарша и разведчица, все на свете испытывавшая и всех своих «подельников» пережившая, не ленивая писательница, а также описательница совокуплений и «любовей пчел трудовых», прославленная «валькирия революции», вдова матроса Дыбенко и многих прочих бедная вдова Александра Коллонтай. О ней писать скучно, но и вовсе забывать не след...

Конечно, от той далекой поры, когда мирно угасла в генеральском доме милая Татьяна Ларина, до той, когда во всю ширь развернулась лихая глотательница «стаканов воды», большевистская буревестница и разведчица Шурочка Коллонтай, много воды утекло в Неве и в Москве-реке. На протяжении всей этой поры зрели и хорошили в тиши барских усадеб новые мечтательные барышни, росли, набирались идей в благородных книжках и долгих застольных спорах, а, набравшись, бросались очертя голову в омут больших городов, и, понятное дело, непохожи уже были по своим манерам бурные «достоевские» женщины на милых нашему сердцу «онегинских». Таких, «достоевских», и самому даровитому страдальцу-творцу из головы было не выдумать (шутка ли чтоб пачки ассигнаций в огонь бросать, да таких, небось, и среди лихого нашего времени затейниц не увидишь). Но тогда уже наверняка встре-

чались такие причудницы великому русскому автору на жизненном пути. Позволю себе привести небольшую парижскую картинку и кратенький очерк женской жизни из конца того самого (уже ныне позапрошлого) века.

## «Ты меня не знал. Да и я себя не знала»

(Аполлинария Сулова, Ф. М. Достоевский)

В начале шестидесятых годов XIX века в небольшой гостинице на праздничной и широкой университетской улице Суфло, что соединяет бульвар Сен-Мишель с площадью Пантеон, жила молодая, красивая русская дама, носившая звучное имя Аполлинария (для близких – Полина, Поля).

Вечером в среду 27 августа 1863 года какой-то мужчина средних лет объявился в этой гостинице и, когда Аполлинария вышла к нему, дрожащим голосом с ней поздоровался. Мы знаем все эти подробности из ее дневника, которому и предоставим слово.

– Я думала, что ты не приедешь, – сказала я, – потому что написала тебе письмо.

– Какое письмо?

– Чтобы не приезжал.

– Отчего?

– Оттого что поздно.

Он опустил голову.

– Я должен все знать, пойдем куда-нибудь, и скажи мне, или я умру.

Она предложила поехать к нему в гостиницу для объяснений. Дорогой он отчаянно торопил кучера.

Когда мы вошли в его комнату, – продолжает она в своем дневнике, – он упал к моим ногам и, сжимая, обняв с рыданием мои колени, громко зарыдал: «Я потерял тебя, я это знал!» Успокоившись, он начал спрашивать меня, что это за человек. «Может быть, он красавец, молод, говорун. Но никогда ты не найдешь другого сердца, как мое... Это должно было случиться, что ты полюбишь другого. Я это знал. Ведь ты по ошибке полюбила меня, потому что у тебя сердце широкое, ты ждала до 23 лет, ты единственная женщина, которая не требует никаких обязанностей...»

Может, многие читатели догадались уже по этому пересказу героини, что человека, говорившего так, звали Федор Михайлович Достоевский, а неверную его возлюбленную – Аполлинария Сулова. Сложные, мучительные отношения между этими двумя людьми, а также отношения между ними, с одной стороны, и героями и героинями всемирно прославленных романов Достоевского, с другой, представляют собой тайну, над разгадкой которой уже столетие бьются биографы, литературоведы, психологи и психоаналитики (и не напрасно, ведь речь в конечном счете идет о героях и героинях «Игрока», «Идиота», «Братьев Карамазовых», «Подростка», «Бесов» – есть о чем поспорить). Иные считают, что это даже специфически русская тайна. Так или иначе, можно согласиться, что тайна эта посложнее самых запутанных тайн Лубянки.

В 1861 году в журнале Достоевского «Время» печатался ранний, и слабый довольно, рассказ Суловой. Может, тогда и начался их роман с Достоевским. А может, и еще раньше. Аполлинарии был 21 год, Достоевскому минуло 40 лет, был он редактор, видный писатель и героический мученик, который вернулся с каторги. Она полюбила его и к весне 1863-го, вероятно, продолжала еще любить, но в «отношениях» их присутствовало нечто такое, что ее оскорбляло или мучило. Было в них некое оскорбительное для нее сладострастие и мучительство (а может, и самоистязание тоже), без которого Достоевский, похоже, и не мыслил себе любви. В

дневнике своем и в более поздних письмах она не уставала винить его в том, что он, в чем-то обманув ее девичье доверие, раскрыл некую бездну, разбудил в ней, такой юной, темную силу мстительности. Это тайна. Мало мы знаем об этом – остается только гадать. На подмогу могут прийти исповеди героев Достоевского (скажем, героя «Записок из подполья») – над ними и ворожат уже больше столетия умные люди. Нам же ясно одно: к весне 1863-го молодой женщине стало невыносимо в Петербурге и она уехала одна в Париж. Достоевский должен был приехать летом, чтобы отправиться вместе с нею в Италию. Но незадолго до его приезда Аполлинария влюбилась без памяти в молодого студента-испанца до имени Сальвадор. Кажется, он был студент-медик. Узнав о приезде Достоевского в Париж, Аполлинария написала ему в гостиницу:

Ты едешь немножко поздно... Еще очень недавно я мечтала ехать с тобой в Италию и даже начала учиться итальянскому языку: все изменилось в несколько дней. Ты как-то говорил, что я не скоро могу отдать свое сердце, – я его отдала в неделю по первому призыву, без борьбы, без уверенности, почти без надежды, что меня любят... ты меня не знал, да и я себя не знала. Прощай, милый! Мне хотелось тебя видеть, но к чему это поведет? Мне очень хотелось говорить с тобой о России.

Едва отослав письмо, Аполлинария начинает уже сожалеть, что из жизни ее уйдет нечто важное (например, разговоры о России, а может, и муки тоже уйдут), она тут же записывает о Достоевском в дневнике: «В эту минуту мне очень грустно. Какой он великодушный, благородный! Какой ум! Какое сердце!»

Впрочем, радости молодой любви делают эту ее грусть недолговечной.

...В воскресенье, всего за три дня до приезда Достоевского, ее возлюбленный Сальвадор вдруг заговорил о том, что он, возможно, уедет из Парижа. Они договорились встретиться во вторник. Во вторник испанца не было дома. Он не появился и в среду и не ответил на записку. Не появился и на следующий день. Потом Аполлинария получила от его товарища письмо, сообщавшее, что у Сальвадора тиф, что он опасно болен, что с ним нельзя видеться. Аполлинария была в отчаянии, обсуждала с Достоевским опасность, грозящую жизни Сальвадора, а в субботу пошла прогуляться близ Сорбонны и встретила веселого Сальвадора в компании друзей. Он был здоровехонек. Ей все стало ясно...

Ночь она провела в слезах, в мыслях о мщении и о самоубийстве, потом позвала Достоевского. Еще при первой парижской встрече он предложил ей уехать с ним в Италию, оставаясь ей при этом как брат. Он обещал ей быть бескорыстным утешителем. Они покинули Париж и двинулись вместе в Италию. Надо ли говорить о том, что он не удержался на высоте «братских» отношений. Иные из исследователей Достоевского (скажем, профессор А. Долинин) упрекают писателя в том, что он не выдержал, не остался до конца великодушным, толкнул бедную женщину дальше – «в тину засасывающей пошлости», пробудил в ее душе новое омерзение к себе и даже мысли о самоубийстве. Но не будь этого, не было бы и кающихся героев, не было бы и Достоевского. Тот же Долинин замечает, что «герой подполья, чтобы тем сильнее казнить себя, выставляет напоказ всю свою мерзость: тяжелее всего воспринимается его поступок с падшей, к которой он тоже вначале приходит как спаситель». Но и Аполлинария была в их странствии уже не та, что раньше (и это тоже отмечает А. Долинин). Она научилась мучительству не хуже Достоевского. Она терзает его недоступностью, разжигает его страсть, ранит мужское самолюбие. И он отнюдь не разлюбил ее за это. Он «предлагал ей руку и сердце» еще и накануне их окончательного разрыва, в 1865-м, да и после женитьбы на преданной, кроткой Анне Григорьевне он продолжал переписываться (а может, и встречаться) с Аполлинарией. Он пишет ей снова и снова, всякий раз словно извиняясь за прозаичность своего брака и своего семейного счастья, называя ее «другом вечным»:

О, милая, я не к дешевому необходимому счастью приглашаю тебя. Я уважаю тебя и всегда уважал за твою требовательность... ты людей считаешь или бесконечно сияющими, или тотчас же подлецами и пошляками.

После путешествия по Италии Аполлинария вернулась в Париж. Город этот, чувствует она, нужен всем заблудившимся и потерянным. Дневник ее выдает теперь бесконечные поиски новой любви взамен прежней. Проходят по страницам мало чем примечательные персонажи-мужчины: Англичанин, Валлах, Грузин, Лейб-медик... Все жмут ей руку (может, это такой дамский эвфемизм XIX века, а жмут вовсе даже не руку). Сама она пишет о погружении в тину пошлости и опять винит в этом Достоевского, который был первым: «Куда девалась моя смелость? Когда я вспоминаю, что была я два года назад, я начинаю ненавидеть Достоевского, он первый убил во мне веру...»



Аполлинария Прокофьевна Сулова (1839–1918) – возлюбленная Ф. М. Достоевского (1861–1866) и жена В. В. Розанова (1880–1887). «С ней было трудно, но ее было невозможно забыть». (В. Розанов)

Потом она начинает во всем винить Париж. Мнения ее, хотя и не вовсе бессмысленные, вполне заимствованные (да и то сказать, ей всего 23, а французский она только еще собирается выучить):



До того все, все продажно в Париже, все противно природе и здравому смыслу, что я скажу в качестве варвара, как некогда знаменитый варвар сказал о Риме: «Этот народ погибнет!» Лучшие умы Европы думают так. Здесь все продается, все: совесть, красота... Я так привыкла получать все за деньги: и теплую атмосферу комнаты, и ласковый привет, что мне странным кажется получить что бы то ни было без денег...

...Я теперь одна и смотрю на мир как-то со стороны, и чем больше я в него вглядываюсь, тем мне становится тошнее. Что они делают! Из-за чего хлопчут! О чем пишут! Вот тут у меня книжечка: 6 изданий вышло за 6 месяцев. А что в ней?.. [восхищение] тем, что в Америке булочник может получать несколько десятков тысяч в год, что там девушку можно выдать без приданого, сын 16-летний сам в состоянии себя прокормить. Вот их надежды, вот их идеал. Я бы их всех растерзала.

Вернувшись в Россию, она тоже не находила себе места. Все ее любви оказались несчастными. Когда ей было уже около сорока, ее впервые увидел семнадцатилетний Василий Розанов:

Вся в черном, без воротников и рукавчиков... со «следами былой» (замечательной) красоты... Взглядом опытной кокетки она поняла, что «ушибла» меня – говорила холодно, спокойно. И, словом, вся «Екатерина Медичи»... Говоря вообще, Суслиха действительно была великолепна, я знаю, что люди были совершенно ею покорены, пленены. Еще такой русской я не видал. Она была по стилю души совершенно русская, а если русская, то раскольница бы «поморского согласия», или еще лучше – «хлыстовская богородица».

Собственно, об этом на четверть века раньше писал и Достоевский:

Она требует от людей всего, всех совершенств, не прощает ни единого несовершенства... сама же избавляет себя от самых малейших обязанностей к людям... Я люблю ее еще до сих пор, очень люблю, но я уже не хотел бы любить ее... мне жаль ее, потому что, продвигу, она вечно будет несчастна... Она не допускает равенства в отношениях наших... Она меня третирует свысока...

Молоденький Розанов женился на ней, любил ее иступленно и ненавидел. Они прожили вместе шесть лет, и он много от нее настрадался: «...когда Сулова от меня уехала, – вспоминает он, – я плакал и месяца два не знал, что делать, куда деваться...»

Еще несколько лет он не давал ей отдельного вида на жительство: надеялся, что она вернется, умолял вернуться, а она отвечала: «Тысяча людей находятся в вашем положении и не воют – люди не собаки». Сулова мстила ему еще долго. Ей было уже 62 года, и Розанов давно растил детей от другой женщины, а она все еще не давала ему развода. Дала только в 1916-м, на исходе восьмого десятка лет, но продолжала люто его ненавидеть... К тому времени, как вы могли отметить, со времен парижской истории прошло больше 60 лет, а тайны всех этих непостижимых русских характеров никто не раскрыл...

## Дочки бедного генерала от артиллерии

*(Анюта и Сонечка Корвин-Круковские, два жениха Ковалевских, комиссар Жаклар, триумф и крах феминизма)*

Надо сказать, что тому же Ф. М. Достоевскому встретила на жизненном пути и другая прелестная, но отвергшая его любовь барышня нового поколения, одна из двух дочерей отставного генерал-лейтенанта от артиллерии В. В. Корвин-Круковского. Эта возросшая в глуши отцовской усадьбы пепельноволосая красавица была уже настоящая «нигилистка», а позднее и революционерка. И то сказать, до самых дальних углов России доходили в ту пору и были зачитаны до дыр передовые журналы и дерзкие книги: взять хотя бы сочинение господина Чернышевского, написанное в камере Петропавловской крепости. Там много чего было такого, что могло смутить чистосердечных барышень, сострадавших ближнему. Хотя бы и оправдание «брака втроем», притом не в кругу избалованной аристократии, а среди благородных вольномыслящих борцов за народное дело. Полвека тому назад школьник, смертельно скучающий над романом «Что делать?», и представить не мог, какой это был животрепещущий бестселлер, даже малочувствительного к изящной прозе Ленина глубоко «перепахавший»...

Впрочем, Бог с ним, с перепаханным злодеем: вернемся к нашим барышням, к русским героиням переходного периода. Конкретнее, вернемся к милым дочкам отставного генерала – Анюте и Соне. Начнем с более известной Сони, с великого дня ее жизни, который и для всех русских женщин стал как бы днем торжества... А может, преждевременного торжества и поражения...

Безвременная и загадочная смерть в феврале 1891 года одной довольно знаменитой в те времена молодой женщины, и позднее, впрочем, считавшейся у себя на родине гордостью русской науки и знаменем женского равенства (а то и женского превосходства), вызвала в то время немало кривотолков. Близкая ее подруга, шведская писательница, высказала предположение, что женщина эта, о которой она как раз в те дни писала книгу, покончила жизнь самоубийством на почве неразделенной любви. Что же касается «предмета любви» – русского ученого и политического деятеля Максима Ковалевского, то он, оказавшись четверть века спустя в австрийском плену и располагая там достаточным запасом времени, написал очерк об этой своей «знаменитой однофамилице» (как вы уже догадались, речь идет о математике Софье Ковалевской), в котором не умолчал и о кривотолках, его непосредственно задевавших: «Многие пустились в догадки о причинах смерти молодой сравнительно женщины, которой в то время интересовалась вся мыслящая Европа».

В этом очерке (как, впрочем, и в предыдущих заметках на ту же тему) М.М. Ковалевский решительно опровергал слух о самоубийстве своей знаменитой подруги, ссылаясь на мнения врачей, результаты вскрытия и прочие ему известные свидетельства и документы. Мы не располагаем документами, которые подтверждали бы или опровергали ту или иную версию ее смерти, да это и неважно, ибо не тайна смерти заинтересовала нас в этой истории, а тайны женской победы и женского поражения, которые показали нам не менее драматичными, чем печальный финал замечательной жизни. Заинтриговали нас прежде всего события и итоги того высокаторжественного дня 1888 года, когда под сводами прославленного Института Франции (в парижском просторечии попросту именуемого Купол) молодой русской женщине-математику из Стокгольма, первой не только среди русских, но и среди всех европейских женщин, вручена была двойная (!) премия Французской академии за успешное решение конкурсной задачи (которое, как докладывали люди ученые, не далось самому Лагранжу) – что-то там о «вращении твердого тела вокруг неподвижной точки»...

Что же, в сущности, произошло в тот день? Что увенчали эта премия, эти торжества, эта суета, к чему они вели, привели, могли привести? К какой победе, какому поражению, каким итогам...

Эти упомянутые нами итоги (победа и поражение) имеют прямое отношение к решению той, возможно, даже и неразрешимой, остающейся вечною тайной проблемы, той, что в старину (в том же 1888 году, скажем, когда споры были в самом разгаре) называли уважительно «женским вопросом», а нынче кличут довольно противно, по-иностранному, феминизмом (как все в нашем воинственном веке, он бывает ныне еще и «воинствующим»). И не нам с вами, в чьей жизни все, что касается женского пола, играет столь важную роль, упускать случай коснуться связанных с этим эпизодом тайн и итогов, а равно и проследить ведущие к ним пути. Непременно коснемся, и проследим, и расскажем обо всем подробно; однако, прежде чем начать рассказ о жизни Софьи Васильевны Ковалевской, должен я высказать сожаление, что до самого последнего времени избегал даже упоминаний об этой женщине, что было связано с некоторыми тяжелыми воспоминаниями отрочества, о которых из скромности расскажу лишь в скобках.

(В старших классах средней школы учительницей математики и классной руководительницей была у нас высокая, стриженная в скобку, средних лет мужеподобная женщина, которую мы без особой симпатии прозвали Софья Ковалевская. Ее полумужской пиджак был вечно обсыпан мелом, а решительные мужские манеры словно призваны были отвлечь наши мысли от мук полового созревания. Кличка нашей математички была навеяна не только тем обстоятельством, что она оказалась тезкой знаменитой женщины минувших времен, и даже не тем, что поминала ее на уроках ежедневно, но еще и тем, что школу мы кончали в эпоху борьбы за русский приоритет во всех вообразимых областях жизни, так что нам об этой Софье Ковалевской твердили и до, и после уроков, и дома, и по радио, по каковой причине среднюю школу я закончил в полном убеждении, что это именно она изобрела проклятые алгебру с геометрией, ненависть к которым я переносил и на эту бедную женщину прошлого. Только теперь, когда я узнал, что Софья Ковалевская, кроме задачи о вращении твердого тела, еще кумекала понемногу в области дифференциальных уравнений и колец Сатурна, а на самом-то деле просто маялась, как все прочие люди на земле и как большинство женщин, – хотела стать писательницей, хотела быть богатой, хотела быть любимой и влюблялась, хотела выйти замуж, и раз, и два, а кончила так печально, – только теперь я к ней помягчел и даже, можно сказать, проникся, да вы поймете сами...)

Переходя к истории ее жизни, сразу начнем с сознательного периода детства, в котором при внимательном рассмотрении найдем все, в том числе и математику, и зависть, и все ее пороки вперемешку с талантами...

Итак, Сонечке минуло всего шесть лет, когда папенька ее, генерал-лейтенант Василий Васильевич Корвин-Круковский ушел в отставку и, покинув Москву, поселился в богатом своем имении Полибино, что не слишком далеко от Невеля и даже не так уж далеко от Витебска, в котором отставной генерал сделался предводителем дворянства. Сонечка была у генерала второй дочерью – может, ждали мальчика, но вот, опять дочь, что ж, и это слава Богу, да только если старшая, Аня, ангельски хороша собой, блондиночка, пепельные локоны, то эта бедовая девчушка Сонечка была, как говорят французы, *garçon manqué* (девочка, которой бы в самый раз родиться мальчиком) по всем статьям. Собственно, родителям и такая замарашка вполне мила, но ей-то самой каково, рядом с ее безмерно обожаемой, несравненной сестрой Аней. Конечно, Сонечка, тоже была очень милый ребенок, но ей самой это различие казалось обидным, так что, думается, уже в ту пору зародилось в ней непомерное честолюбие ребенка, обиженного судьбой. Впрочем, это только ныне приходит в голову, а в описаниях ее жизни просто ссылались на наследственность, на происхождение, и тут ведь действительно есть о чем поговорить. Семейное предание считало генерала Василия Корвин-Круковского хотя и дальним,

но прямым потомком славного венгерского короля Матиуша Корвина, который известен был как знаток многих языков и любитель искусств и наук, в частности, математики. Супруга же генерала была дочерью Федора Федоровича Шуберта, почетного члена Академии наук, тоже, кстати, имевшего генеральское звание. В зрелом возрасте С.В. Ковалевская не раз поминала о славном наследии предков:

Я получила в наследство страсть к науке от предка, венгерского короля Матвея Корвина; любовь к математике, музыке и поэзии от деда матери с отцовской стороны, астронома Шуберта; личную свободу от Польши; от цыганки-прабабки – любовь к бродяжничеству и неумение подчиняться принятым обычаям: остальное от России.

Остального тоже оказалось немало, но думать об этом еще рано. Пока – мирное, счастливое усадебное детство, красота, покой, дубравы и речки, любовь родителей, нянек и прислуги, баловство, кофе со сливками в теплую постельку... Генералу еще и не снилось, сколько может быть хлопот с милыми девчушками, когда те подрастут.

Первой подросла Аня – красавица с сильным и неумным характером захотела учиться. Учителей хватало, но она и книги из Петербурга выписывала ящиками, в том числе и вполне серьезные – «Физиология жизни», «История цивилизации». А потом и сама начала писать. Не только писать, но и отсылать написанное тайком в петербургский журнал, и не в абы какой, а в «Эпоху», к самому редактору Ф.М. Достоевскому...

У младшей же, у Сонечки, обнаружился с малых лет не слишком типичный для барышни интерес к науке математике. Оказалось, что угол ее спальни был обклеен во время ремонта литографическим изданием лекций Остроградского по дифференциальному и интегральному исчислению. И странные эти письма и крючочки Сонечку волновали с малолетства, она их на всю жизнь запомнила...

Потом грянула беда. Редактор из Петербурга, знаменитый писатель Ф.М. Достоевский напечатал Анянину повесть в журнале и даже прислал юной авторше в деревню 300 рублей гонорару (что не часто редакторы делают, но был сильно заинтригован Федор Михайлович). Однако для отца юной дочери это был первый удар – с неженатым мужчиной тайком переписываешься, нынче рукопись продаешь, а завтра...

Увидев прелестную авторшу Аню в Петербурге, знаменитый писатель, много уже переживший на своем веку, с ходу влюбился в нее, сделал ей предложение и даже вырвал у нее обещание выйти за него замуж, которое ему пришлось ей потом возвращать, а младшая сестричка смотрела на сестру-победительницу с завистью и не понимала, как может она не желать выйти за такого замечательного человека. Сама-то малышка Сонечка, увидев великого писателя, не могла в него не влюбиться. Позднее она описала прощание с ним в Петербурге: «Со мной его прощание было очень нежное. Он даже поцеловал меня при расставании, но, верно, был очень далек от мысли, какого рода были мои чувства к нему и сколько страданий он мне причинил...»

Аня же Достоевскому отказала и перед возвращением из Петербурга в усадьбу пыталась объяснить свое состояние уязвленной этим отказом сестричке, которая потом записала ее слова:

...я и сама иногда удивляюсь, что не могу его полюбить. Он такой хороший. Вначале я думала, что, может быть, полюблю. Но ему нужна совсем не такая жена, как я. Его жена должна совсем, совсем посвятить себя ему, всю свою жизнь ему отдать, только о нем и думать. А я этого не могу, я хочу сама жить. К тому же он такой нервный, требовательный. Он постоянно как будто захватывает меня, всасывает меня в себя, при нем я никогда не бываю сама собою.

Все это Анюта говорила, якобы обращаясь ко мне, но, в сущности, чтобы разъяснить себе самой. Я делала вид, что понимаю и сочувствую, но в душе думала: «Господи! Какое должно быть счастье быть постоянно при нем и совсем ему подчиниться! Как может сестра отталкивать от себя такое счастье!»

Воспоминания эти Софья Васильевна писала в своей стокгольмской квартире за год до смерти, а бедной Анюты уже два года как не было в живых – и так вспоминалось тогдашнее их возвращение из Петербурга в весеннюю распутицу, так вспоминалось...

Помню, как мы, уже поздно вечером, проезжали бором. Ни мне, ни сестре не спалось. Мы сидели молча, еще раз переживая все разнообразные впечатления прошедших трех месяцев и жадно втягивая в себя тот пряный, весенний запах, которым пропитан был воздух. У обеих до боли щемило сердце каким-то томительным ожиданием.

Мало-помалу совсем стемнело. По причине дурной дороги мы ехали шагом. Ямщик, кажется, задремал на козлах и не покрикивал на лошадей: слышалось только шлепанье их подков по грязи да слабое, порывистое бряцание бубенчиков. Бор тянулся по обеим сторонам дороги, темный, таинственный, непроницаемый. Вдруг, при выезде на полянку, из-за леса словно выплыла луна и залила нас серебряным светом, да так ярко и неожиданно, что нам даже жутко стало.

После нашего последнего объяснения в Петербурге с сестрой мы уже не касались никаких сокровенных вопросов, и между нами все еще существовало точно стеснение какое-то, что-то новое разделяло нас. Но тут, в эту минуту, мы как бы по обоюдному соглашению прижались друг к другу, обнялись и обе почувствовали, что нет больше между нами ничего чуждого и что мы близки по-прежнему. Нас обеих охватило чувство безотчетной, беспредельной жизнерадостности. Боже! как эта лежащая перед нами жизнь и влекла нас, и манила, и как она казалась нам в эту ночь безгранична, и таинственна, и прекрасна!

Молодость, предчувствие счастья, нежная сестринская любовь, ночной лес, весна – это здесь главное. Но тут еще нет многого, что уже нависало тогда угрозой на горизонте, что грозило не зря: новые идеи, тщеславие, желание пойти своим путем, вопреки чужому опыту и природе...



Анна Васильевна Корвин-Круковская (1843–1887) – русская революционерка и писательница, участница Парижской коммуны

Вспоминая ту же историю сватовства Достоевского, Анна Григорьевна Сниткина, бывшая стенографисткой у Достоевского, а потом ставшая ему женой (лучшей из жен), так передает рассказ своего мужа об Анюте Корвин-Круковской:

Анна Васильевна – одна из лучших женщин, встреченных мною в жизни. Она чрезвычайно умна, развита, литературно образованна, и у нее прекрасное, доброе сердце. Это девушка высоких нравственных качеств, но ее убеждения



диаметрально противоположны моим, и уступить их она не может, слишком уж она прямолинейна. Навряд ли поэтому наш брак мог бы быть счастливым. Я вернул ей данное слово и от всей души желаю, чтобы она встретила человека одних с ней идей и была бы с ним счастлива.

О каких же идеях идет здесь речь? Об идеях социализма, конечно, о материализме, атеизме, о «нигилизме», феминизме, анархизме... Все это уже гуляло по свету и нашло благодатную почву среди русских идеалистов, главным образом, среди молодых людей и барышень из благополучных семей. Да ведь и сам Достоевский мечтал когда-то о социализме, о равенстве, однако с тех пор много воды утекло, много мук претерпел Федор Михайлович, а в пору сватовства к Анюте он уже упрекал социализм в атеизме, в том, что тот хлопочет лишь о хлебе, о преодолении нищеты, об устройстве общества без личной ответственности, что многие социалисты «покамест страшно любят деньги и ценят их даже безмерно». Писатель говорит о корысти, а были ведь еще честолюбие и властолюбие... «Никогда не сумеют они разделиться между собой», – пророчил Достоевский, а юные сестрички из Полибина жили тогда в увлечении модными идеями и до зрелости мысли, пожалуй, не суждено было дожить ни одной. Старшая же из них, так сильно влиявшая на младшую, вдобавок обладала, по многим свидетельствам, не только «прямолинейностью», но и строптивым, необузданным характером. Но пока, в Полибине, речь шла только об отъезде в Петербург и о страсти к ученью – учиться, учиться, учиться... Сколько ни убеждал дочерей почтенный отец-генерал, что «долг всякой порядочной девушки жить со своими родителями», удерживать он их больше не мог – обе уехали в Петербург, уже кишевший юными «нигилистками». Собственно и в Петербурге выбор для девушки был невелик – женские курсы. За настоящим образованием ехать следовало в Швейцарию, но незамужней женщине заграничный паспорт получить было трудно, и на помощь пришла уловка фиктивных браков. Находились молодые люди, готовые прийти на помощь прелестным и обездоленным соотечественницам (на жаргоне нигилистов звали этих рискованных молодых людей «консервами»). Нашелся такой и для милых сестер Корвин-Круковских. Звали его Владимир Ковалевский, он и сам собрался за границу. Вопреки всем расчетам и ожиданиям, выбрал он из двух не пепельноволосую красавицу Анюту, а не слишком заметную Сонечку, которая была его на восемь лет моложе. Впрочем, по воспоминаниям подруги, и она была прелестна в ту пору:

Ей минуло уже 18 лет, но на вид она казалась гораздо моложе. Маленького роста, худенькая, но довольно полная в лице, с коротко обстриженными вьющимися волосами темно-каштанового цвета, с необыкновенно выразительным и подвижным лицом, с глазами, постоянно менявшими выражение, то блестящими и искрящимися, то глубоко мечтательными. Она представляла собой оригинальную смесь детской наивности с глубокою силой мысли.

...Она привлекала к себе сердца безыскусственною прелестью... и старые и молодые, и мужчины и женщины – все были ею увлечены. Глубоко естественная в своем обращении, без тени кокетства, она как бы не замечала возбуждаемого ею поклонения. Она не обращала ни малейшего внимания на свою наружность и свой туалет, который отличался всегда необыкновенной простотой с примесью некоторой беспорядочности, не покидавшей ее в течение жизни...

Пристрастное это описание отчасти подтверждали и другие. Вот что писал в своем очерке Максим Ковалевский:

В молодости Софья Васильевна была очень красива, и знавший ее в то время Климент Аркадьевич Тимирязев говорил мне, что за нею очень ухаживали. Но натура умственная по преимуществу, она в это время всецело

была поглощена своею специальностью и не давала никакого простора чувствам.

Итак, Анюта и Сонечка, вступившая в фиктивный брак с «милым братом» В.О. Ковалевским, уезжают все вместе в Германию, в знаменитый университетский Гейдельберг. Соня посещает лекции по математике, физике и астрономии, потом едет в Берлин к знаменитому математику Вейерштрассу. Ей не удается поступить в университет, и тогда великодушный, щедрый Вейерштрасс, убедившись в хороших ее знаниях и незаурядных способностях, начинает давать ей уроки дома. Анюте же науки показались скучны и утомительны, ей хотелось какой-то другой жизни и других занятий. Она уезжает в Париж, общается там в бунтарских кружках с молодыми радикалами и влюбляется в бланкиста Жаклара. Он был студент-медик, но политикой интересовался больше, чем медициной. За участие и демонстрациях Жаклара исключили из университета, и, опасаясь ареста, он вместе с Анютой бежал в Швейцарию. Вскоре во Франции начинается новая смута, и Жаклар возвращается в Лион, где его избирают «народным комиссаром». Потом он едет в Париж в составе лионской делегации, да там и остается, ибо грядет Парижская коммуна.

Сонечка упорно постигает науки, но молодое сердце ее томится по любви, и когда она узнает, что Анюта вышла замуж по любви, ее собственное математическое одиночество оказывается нестерпимым. Ее письма к «милому брату» Владимиру Онуфриевичу Ковалевскому становятся все более нежными, и в конце концов их брак перестает быть только фиктивным. В 1870 году им пришлось выручать активных деятелей Парижской коммуны Анюту и Жаклара. Коммуна началась с революционного террора и бессмысленных репрессий, а закончилась контрреволюцией, разгромом бунтарей и новыми репрессиями. Соня и Владимир Ковалевский ринулись в Париж. С их помощью Жаклару удалось бежать оттуда фамилией Ковалевский. Секретарь русского посольства в Париже сообщал в то время в Петербург о Жакларе и его русской жене как о сторонниках кровавого насилия. Думаю, он не слишком преувеличивал.

Анюте удалось снова перебраться в Швейцарию, но она уже так и не оправилась после перенесенных физических лишений и страхов. Остаток ее жизни прошел в недомоганиях.

В 1874 году Софья и Владимир Ковалевские возвращаются в Петербург. Приходит пора семейной жизни, и, казалось бы, ничто не может помешать счастью молодых, образованных, далеко не бедных симпатичных супругов... 1875 год, Соня в Полибине, ждет приезда Владимира, шлет ему стихотворное письмо:

Твоей смуглянке скучно, мужа ожидает.  
Раз десять в сутки на дорогу выбегает.  
Собаки лай, бубенцов звонких дребезжанье  
В ней возбуждают трепет ожиданья.  
И вновь бежит она и, обманувшись вновь,  
Клянёт мужей неверных и любовь.

В 1878 году у Ковалевских родилась дочка, которую называли тоже Софьей (а в семье звали Фуфой). И все же этот брак двух благородных, талантливых, милых людей трудно назвать счастливым. Владимир Ковалевский был добрый, любящий муж, но Софья Васильевна находила его любовь недостаточно пылкой, а жизнь с ним – несколько однообразной. Об этом она не раз говорила своей подруге Юлии Лермонтовой, так писавшей о Ковалевском в своих воспоминаниях:

Это был талантливый, трудолюбивый человек, совершенно непритязательный в своих привычках и не чувствовавший никогда потребности в развлечениях. Софа говорила часто, что ему «нужно только

иметь около себя книгу и стакан чаю, чтобы чувствовать себя вполне удовлетворенным».

... Когда Софа много лет спустя разговаривала со мной о своей прошлой жизни, она с наибольшей горечью выражала всегда следующую жалобу: «Никто меня никогда не любил искренне». Когда я возражала ей на это «Но ведь муж твой тебя любил горячо!» – она всегда отвечала: «Он всегда любил меня только тогда, когда я находилась возле него. Но он умел отлично обходиться и без меня».

Та же Лермонтова признает, однако, что подруга ее Софья Васильевна была чрезмерно требовательной, желала постоянных признаний в любви, оценки своих исключительных талантов, непрестанных похвал...

Надо сказать, что некоторый избыток тщеславия (порой, впрочем, смягченного самоиронией) чувствуется не только в письмах Софьи Васильевны, но и на автобиографических страницах ее прозы. Скажем, в этих строках повести «Нигилистка»:

Репутация ученой женщины окружала меня известным ореолом; знакомые все чего-то от меня ждали; обо мне успели уже прокричать два-три журнала, и эта еще совсем новая роль знаменитой женщины, хотя и смущала меня немного, но все же очень тешила на первых порах.

... Я была и смущена, и польщена этим доказательством своей известности.

Но когда же успевали супруги скучать, если оба они – ученые и так мечтали отдаться науке? Владимир Онуфриевич был видный палеонтолог, а Софья Васильевна столько положила сил и одолела препятствий, чтобы стать математиком, горы своротила на пути к вершинам науки, столько получила бескорыстной помощи... Казалось бы – грызите гранит науки и дальше. Тем более что воспитанием ребенка они не занимались, а к домашней работе Софья Васильевна была не приспособлена. Наука, только наука – даже две, математика и палеонтология...

И тут выясняется самое странное. По возвращении в Петербург Ковалевские наукой не занимались, а оба всерьез увлеклись... бизнесом. Вот как вспоминает об этом сама С.В. Ковалевская:

В то время все русское общество было охвачено духом наживы и разных коммерческих предприятий. Это течение захватило и моего мужа, и отчасти, должна покаяться в своих грехах, и меня самое. Мы пустились в грандиозные постройки каменных домов, с торговыми при них банями. Но все это кончилось крахом и привело нас к полному разорению.

Наверное, не все общество ринулось в земельные спекуляции и домостроение, но Ковалевские, уже взошедшие на первые ступени науки (Софья Васильевна в свои 24 года была доктором математических наук), в них ринулись. Любопытные подробности сообщает об этом петербургский краевед Будинов.

Очаровательный трехэтажный особняк на Васильевском острове, купленный для сестер Корвин-Круковских матерью, молодые ученые Ковалевские решают достроить до шести этажей, взяв в долю революционную семью парижан Жакларов. Когда выяснилось, что фундамент особняка не выдержит, новые бизнесмены решают построить во дворе пятиэтажный флигель, а затем и второй флигель. Затея кончилась удачно, квартиры во флигелях были сданы, супруги даже разбогатели. Вспоминают, что Софью Васильевну иные петербургские завистники стали звать «миллионершей». А писательница госпожа Литвинова вспоминает, что Софья Васи-

льевна стала «совершенно светской дамой, имела свою ложу в театре и обожала шоколадные конфеты».

Молодые предприниматели входят во вкус. Купив особняк на Девятой линии, они ломают его и затевают новое строительство. Математик Софья Васильевна верит и в точность своих расчетов и в свою удачливость. В моду входят общественные бани, которые проектирует один из родственников семьи. Решают построить по дешевке баню, а на чердаке, где будут проходить теплые трубы, устроить доходные парники...

Что можно сказать против всех этих затей? Краеведы жалеют особняки, каждый из которых был связан с видными именами русской культуры. Автор этих строк сожалеет лишь о зря пропавших отчаянных усилиях борцов за женское освобождение. О больших жертвах и скудных плодах. А сам бизнес – что ж, дело прекрасное. Но только и для него надо иметь особый талант.

Осенью 1878 года доктор математических наук родила дочку Сонечку. Отойдя от дел строительства, Софья Васильевна нянчила доченьку в деревянном особнячке на Большом проспекте Васильевского острова, развела огород и даже держала корову на участке, чтоб кормить Сонечку молоком.

А видный палеонтолог Владимир Онуфриевич остался на строительной площадке один. Здания быстро росли, но деньги таяли еще быстрее. Талантливый, честный и наивный ученый не знал, как остановить катастрофу. Дельцом он оказался никудышным. Старший брат советовал ему все бросить, остановиться. Но было поздно. Через год Ковалевские вконец разорились. Продажа бань их не спасла. Долги лавиной обрушились на супругов, и Владимир Онуфриевич представить себе не мог, как он сможет заработать столько денег, чтоб расплатиться...

Софья Васильевна перепробовала несколько занятий. Начав с издательских опытов, она кончила тем, что перебивалась театральными рецензиями. А между тем Ковалевский еще глубже, чем жена погрузился в дебри бизнеса, встал во главе нефтяной компании. Привело это, как уже говорилось, к полному разорению (родительское наследство было спущено) и скандалу. Ковалевского обвиняли во всех смертных грехах.

Узнав о бедствиях своей ученицы, добрейший старик Вейерштрасс пригласил ее жить у него в доме в качестве «третьей сестры». Он же просил своего ученика, шведского математика Миттаг-Лефлера помочь Софье Васильевне вернуться к науке, и в 1882 году она с помощью Миттаг-Лефлера уезжает за границу, пристроив дочку Юлии Лермонтовой. В апреле 1883 года Софья Васильевна узнает о самоубийстве запутавшегося в делах Владимира Онуфриевича: запершись в номере московской гостиницы, он отравился хлороформом.

В том же году Ковалевская начинает читать лекции в Стокгольмском университете, где вскоре становится ординарным профессором.

Отчего ж не в России, где были друзья и дочь? Говорили, что в России не нашлось для нее достойного места, что она могла там преподавать только на женских курсах. Хорошо это или плохо, не мне судить. Так или иначе, с 1883 года до конца своих дней Софья Васильевна преподавала в Швеции, неизменно, как водится, скучая по России.

Об этом, «профессорском», периоде жизни С.В. Ковалевской осталось довольно много воспоминаний ее друзей, не говоря уж о письмах на родину и литературных произведениях, написанных ею самой и ее подругами-писательницами. Софья Васильевна хорошо говорила по-французски, выучила шведский, вошла в среду стокгольмской научной элиты. В письмах она не раз упоминает, что ее называют здесь «королевой математики», «принцессой математики». С трогательным тщеславием она следит за появлением своего имени в газетах. Ковалевская впервые пробует жить со своей семилетней дочерью, хотя, по всеобщему мнению, к любой повседневной жизни она была мало приспособлена. Чаще она просто искала, кому бы сбыть дочку. Вот что писала ее подруга Лефлер-Эндгрэн:

С мужскою энергией и мужским умом и с замечательным в некоторых случаях упорством она соединяла большую долю женской беспомощности. Она всегда чувствовала потребность в опоре, в друге, который помогал бы ей выпутываться из затруднительных обстоятельств и облегчал жизнь. Почти всегда и всюду она находила такого друга, а когда не находила, то чувствовала себя несчастной и потерянной, точно беспомощное дитя.

Она не умела купить себе платье, не могла сама держать свои вещи в порядке. Прожив столько времени в Стокгольме, она не умела отыскать в городе дорогу, а знала только улицы, которые вели к Высшей школе и к дому самых близких друзей. Она не умела позаботиться ни о своих практических делах, ни о доме, ни о дочери, из-за чего вынуждена была всегда оставлять ее у кого-нибудь, – одним словом, была она до такой степени непрактична, что все мелкие жизненные заботы оказывались для нее нестерпимы.

Такую же беспомощность проявляла Софья Васильевна и в интимной жизни. Подруги-писательницы замечали, что сердце ее жаждет любви, но честолюбие мешает полюбить с самоотречением. Пытаясь разобраться в этой своей беде, Софья Васильевна грешила на проклятое «филистерское» наследие романтических Шубертов:

Много раз в жизни я совершала какое-нибудь безумство, но это не удавалось мне никогда. Я так страшно, так неисправимо рассудительна. Мои предки со стороны матери – немецкие филистеры – очевидно взяли верх над казаками и цыганами, кровь которых течет в моих жилах по отцу...

Эти немногие перечисленные здесь черты талантливой женщины, стоявшей у истоков русского феминизма (хоть и не имевшей привычек более поздней раскованной петербургской богемы), кажутся вполне знакомыми и узнаваемыми. Узнавание это не мешает глубоко сочувствовать нашей героине, а ей ведь понадобится отныне все наше с вами сочувствие, ибо она вступает в блистательный и трагический период своей жизни.

В 1887 году в Швейцарии после хирургической операции умерла бедная Анюта. «Со смертью сестры, – писала Софья Васильевна, – порвана последняя нить, связывавшая меня с моим детством». Софья Васильевна не поддерживает никаких отношений с Жакларом, который, похоже, перебесился, учится на врача, женился. Потерян и след племянника Юрочки. Ковалевская пишет прекрасные воспоминания о детстве. Литературные занятия притягивают ее все больше. Она пишет из Стокгольма кухне:

*...Ты, наверно, удивишься, услышав от меня, что я во время каникул, чтобы отдохнуть от математики, занимаюсь писательством, а в последний год даже очень прилежно, так как я здесь очень подружилась с 2-жой Эндгрэн, которая в настоящее время слывет лучшей шведской писательницей. На этих днях появится написанная нами обеими драма.*

В другом письме Софья Васильевна объясняет, что нет никакого противоречия между наукой и поэзией:

Я понимаю, что Вас так удивляет, что я могу зараз заниматься и литературой, и математикой. Многие, которым никогда не представлялось случая более узнать математику, смешивают ее с арифметикой и считают наукой сухой и бесплодной. В сущности же это наука, требующая наиболее фантазии, и один из первых математиков нашего столетия говорит, что нельзя быть математиком, не будучи в то же время и поэтом в душе. Только, разумеется, чтобы понять верность этого определения, надо отказаться от старого предрассудка, что поэт должен сочинять что-то несуществующее, что

фантазия и вымысел – это одно и то же. Мне кажется, что поэт должен только видеть то, чего не видят другие, видеть глубже других. И это же должен и математик.

Что до меня касается, то я всю жизнь не могла решить, к чему у меня больше склонности – к математике или к литературе? Только что устанет голова над чисто абстрактными спекуляциями, тотчас начинает тянуть к наблюдениям над жизнью, к рассказам, и наоборот – в другой раз все в жизни начинает казаться ничтожным и неинтересным, и только одни вечные, непреложные научные законы привлекают к себе. Очень может быть, что в каждой из этих областей я сделала бы больше, если бы предалась ей исключительно, но тем не менее я ни от одной из них не могу отказаться совершенно.

Итак, математика, преподавание, литературные и драматургические опыты, даже попытка сближения со знаменитым путешественником (оказалось, что у Нансена уже есть невеста), и все же – одиночество, тоска по близости, эмоциональный голод...





Софья Васильевна Ковалевская (1850–1891) – русский математик и механик, с 1889 года иностранный член-корреспондент Петербургской Академии наук. Первая в России и в Северной Европе женщина-профессор и первая в мире женщина – профессор математики (получившая ранее это звание Мария Анъези никогда не преподавала)

Но вот в 1887 году на горизонте появляется Он. Это знаменитый однофамилец Софьи Васильевны Максим Ковалевский, русский человек, русский ученый, бунтарь, изгнанник, человек близких убеждений – хотя Софья Васильевна и не была, в отличие от сестры, коммунаркой, членом партии, революционеркой и экстремисткой, она долгое время оставалась близкой к радикальным кругам, она тоже считала (и писала об этом Петру Лаврову из Стокгольма), что «каждый обязан свои лучшие силы посвятить делу большинства», что «очень полезно распространять всеми способами сочувствие к нигилизму, тем более что Швеция – такая естественная и удобная станция для всех желающих покинуть матушку Россию внезапно». А М.М.

Ковалевский Россию уже «покинул внезапно»: любимец студентов, он вынужден был оставить университет, поселился на Французской Ривьере, познакомился с Марксом, читал время от времени лекции в Париже. Этот бородатый гигант, по отзывам многих (в том числе Чехова), – интереснейший собеседник, один из самых умных и образованных русских за границей («Он теперь читает лекции в Париже, – сообщает Чехов в одном из писем. – Повидайтесь с ним, пожалуйста: это большой человек во всех смыслах и интересный...»).

С подачи Софьи Васильевны М. Ковалевский был приглашен в Стокгольм для чтения лекций. По приезде он послал письмецо С.В. Ковалевской и в тот же день получил записку с нарочным: «Жаль, что у нас нет на русском языке слова *välkommen*, которое мне так хочется Вам сказать. Я очень рада Вашему приезду и надеюсь, что Вы посетите меня немедленно. До 3 часов я буду дома. Вечером у меня именно сегодня соберутся несколько знакомых, и надеюсь, что и вы придете». И Ковалевский, конечно, пришел в тот же вечер, встретил много замечательных, даже выдающихся шведов, а главное – впервые увидел хозяйку дома. Позднее он вспоминал:

Для меня центром интереса была, разумеется, моя знаменитая однофамилица. Я проводил свободное время в ее обществе... Мы сошлись приятельски потому, что оба были одинокими на чужбине. Она окружена вниманием, даже восторгом, но без сердечной близости, чувствуя себя все время русской женщиной, оторванной от своей обычной среды, живущей русскими интересами, жаждущей всего больше душевной беседы о том, что делается по ту сторону Балтийского моря.

Это все правда, но, конечно, лишь полуправда или даже четверть правды (тем более что М. Ковалевский сообщает нам попутно, что Софья Васильевна – не только горячая патриотка, но и совершеннейшая космополитка). Письма Софьи Васильевны в эти дни (и даже первые страницы начатой ею новой повести), содержат восторженные описания внешности этого вальяжного русского барина («настоящий боярин»), этого умницы, блестящего ученого, бунтаря и либерала. Вот одно из таких писем, написанных подруге сразу после отъезда Максима Максимовича из Стокгольма:

Вчерашний день был вообще тяжелый для меня, потому что вчера вечером уехал М... Он такой большой... и занимает так ужасно много места не только на диване, но и в мыслях других, что мне было бы положительно невозможно в его присутствии думать ни о чем другом, кроме него. Хотя мы во все время его десятидневного пребывания в Стокгольме были постоянно вместе, большей частью глаз на глаз, и не говорили ни о чем другом, как только о себе, притом с такой искренностью и сердечностью, которую тебе трудно даже представить, тем не менее я еще совершенно не в состоянии анализировать своих чувств к нему. Я ничем не могу так хорошо выразить произведенное им на меня впечатление, как следующими превосходными стихами Мюссе:

Он весел так – но мрачен вдруг,  
Сосед ужасный – чудный друг,  
Он мал, но грозен пьедестал,  
Он прост, но все уж испытал,  
Вот был открыт, но хитрым стал...

К довершению всего – настоящий русский с головы до ног. Верно также и то, что у него в мизинце больше ума и оригинальности, чем можно было бы выжать из обоих супругов Х. вместе, даже если положить их под гидравлический пресс...

Мне ужасно хочется изложить этим летом на бумаге те многочисленные картины и фантазии, которые роятся у меня в голове... Никогда не чувствуешь такого сильного искушения писать романы, как в присутствии М., потому что, несмотря на свои грандиозные размеры (которые, впрочем, несколько не противоречат типу истинного русского боярина), он самый подходящий герой для романа (конечно, для романа реалистического направления), какого я когда-либо встречала в жизни. В то же время он, как мне кажется, очень хороший литературный критик, у него есть искра Божия.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.